

Эмоции у греков, или зачем философии психология

Н. Н. Мурзин

Если метафизика – само-понимание философии, и притом, скорее всего, неверное, что не уставал повторять Хайдеггер – потому, что иное в принципе невозможно – она не может стать обратно философией; точнее, философией, метафизически обернутой на себя, немисливо трудно вернуться к простой само-понятности своего дела, которую пытается воссоздать метафизический иллюзион. Но если само-понимание еще может быть *неверным*, то само-сознание может быть лишь *иллюзорным* – поскольку у него нет в действительности никакого референта. Такое сознание крошится под гнетом *сомнения* – оно одолевает его, поскольку в какой-то момент для него делается очевидной обратная пропорциональность прилагаемых им усилий к интерпретации реальности и состояния его собственных дел; оно начинает думать, что некая мощная воля, пронизывающая собой все, кажущееся столь ясным и открытым сущее, противодействует ему, искажает и фальсифицирует результаты, которое оно получает. Мало того, что эта воля неблагосклонна к сознанию – человек и сам себе порой враг; она каким-то образом убедилась вещи мира подыграть ей. Почему они заодно с нею? Возможно, потому, что она и есть их подлинный создатель и повелитель, то, что управляет их существованием. Эта тема становится ведущей в Новое время у Декарта и, начиная с него – далее, вплоть до Ницше и его критики платонизма.

Существенно здесь следующее. Во-первых, иллюзорность интеллектуальной иерархии, то есть, идеи «составленности» человеческого разума. Дело не в том, чтобы подняться от низших ступеней познавательной деятельности, под которыми обычно подразумевают чувственное восприятие и «окошко» сознания, в которое поступают его данные, к высшим, на которых обман и самообман будут уже невозможны – «строгому мышлению» и «объективному знанию». Метафизика создается мыслью, и только; сознание делается сферой погрешности, когда метафизически переустроенная и переустройствающая все и вся мысль *доходит* до него, нисходит сверху и постепенно пронизывает собой. Еще точнее будет сказать, что так понимаемое сознание в момент такого своего понимания и *создается*, иначе говоря, конституируется. «До» этого «сознание» является чем-то совсем иным, или даже не существует вообще. «Заблуждающееся сознание» есть произведение метафизического ума, и более ничего. То, что рассуждая о вводящем нас в заблуждении злом гении, Декарт ссылается прежде всего на проблематичные данные восприятия, означает, что восприятие уже «тематизировано», пронизано метафизикой, а не то, что оно просто самый слабый и недостоверный род познания. Если бы такое суждение *клеветало* на нечто реально существующее – допустим, невинное и прекрасное восприятие само по себе, некую чистую субстанцию – это было бы неприятно, но понятно. Но вот ведь ирония, оно изобличает в несостоятельности лишь то, что из *себя самого* прежде сотворило. «Душа» клеветает на «тело», «тело» клеветает на «душу», но нет ни того, ни другого – нет для них самих, то есть, и вообще; не «душа» душой, и не «тело» телом себя находят и называют. Когда Ницше говорит «мы не разобрались с телом, а уже пытаемся понять душу», следует продолжить: «мы еще не научились правильно говорить о чувствах, а уже претендуем на достоверное знание». У нас *нет достоверного знания* о чувствах. Почему? Потому что они создают, определяют и нас, и язык, на котором мы говорим, и это огромный вопрос – можно ли с помощью языка и его конструкций понять то, что его создало. Мы возвращаемся к исходной нашей мысли – мысли о принципиальной невозможности абсолютно адекватного само-понимания. Мы понимаем, что оно никогда не случится, потому что конструкции, которыми и в которых мы его опознаем, никогда не оно само и им не будет. Возможно, понимание достигает своей предельной ясности *там, где* оно себе с веселым облегчением отказывает; *тогда, когда* оно себя, наконец, отпускает. Можно,

конечно, поспорить о произвольности места и времени. И снова увязнуть в метафизике. Где бы она нас не подстерегла – в определении, оценке или самоидентификации.

Есть серия уникальных событий – существование, восприятие, сознание, общение, история, язык... Мы даем им имена, и нам кажется, что все они существуют исключительно в языке. Мы рассматриваем их в их последовательности, и они переходят в безраздельное властвование истории. Они могут собираться в одно, выступать в качестве частей и производных друг друга, сводиться к чему-то третьему, четвертому, пятому, и так до бесконечности. Но мы – мы просто отвоевываем нашу речь у молчания. Если нам удастся сегодня укрепиться на этом крохотном клочке суши, не дать сбросить себя в море, это уже благословение.

Они хотят понимать философию, Гераклита, Парменида. Хотят мыслить метафизически. Тогда они должны понять войну. Тогда им самим придется воевать.

Есть круг однажды сказанных слов. Это все, что их объединяет. Последнее смыкается с первым, но лишь затем, чтобы замкнуть круг, стереть концы и начала в пространстве и времени, а не затем, чтобы провести воображаемую линию преемственности смысла. Когда круг замкнулся, он перестает существовать как мыслительная фигура. Его невозможно разгадать, расшифровать. Но его в любой момент можно разомкнуть, причем абсолютно произвольно. Поэтому генеалогии и антологии всегда произвольны. Когда круг замкнулся, это просто слова в языке. И сам язык – одно из этих слов. Без кавычек; иначе было бы слишком просто.

Накал эмоций таков, что мыслить и легко, и очень трудно сразу; и восхитительно, и мучительно. Вслед за восторгом – провал в сомнение, в пустоту. Есть неуловимое «между», которое не позволяет сказать, что мы испытываем эти чувства одновременно, а следовательно, впадаем в противоречие. Но в то же время все охвачено, пронизано единосущной событийностью. Я могу быть и счастлив, и несчастлив, когда влюблен, даже не совмещая кажущееся несовместимым *поэтически*. Просто это *эон*, единое время моей любви, отмеченное для меня словами, знаками и символами случайной природы. В разное время этого единого времени я могу, и конечно, испытываю чувства, которые кажутся противоречивыми, но, повторяю, даже если исключить то, что в действительности они могут таковыми не быть, то есть, прекрасно существовать единомоментным образом, все равно в сухом остатке есть чем поживиться философу.

Поэтому Ницше и делает упор на психологию, на теорию аффекта. Тут задача не в том, чтобы назло Платону, платонизму и всей «метафизике» вообще, отдать преимущество изменчивому и становящемуся, многообразному и подвижному. Тут вопрос *власти*. Потому что, если эмоции – это то, под влиянием чего люди меняются и меняют свои мнения и убеждения, следуя Аристотелевой дефиниции, тогда это *начало* всех мнений и убеждений, потому что ничто иное не способно вызывать в вещах изменение. Вещи подвластны своим началам, и только им. Власть начала всегда проявляется и всегда узнается; оно правит вещь изнутри, из ее собственного средоточия. Метафизика? Да, и еще какая. Воевать с метафизикой можно только метафизикой, потому что она преимущественно и воюет; то, с чем она сражается, само с ней не сражается никогда. Итак, говорит Ницше некоему условному Платону, признай: если ничто способно влиять, значит, оно – начало; или откажись вообще от всей этой «начальности». А ничто – это все, что то одно, то другое, а значит, своей собственной сущности не имеет. Подходят сюда эмоции? Разумеется. И многое, многое другое. Когда Хайдеггер говорит о переворачивании платонизма в философии Ницше, это правда; только это не уникальное, однажды происходящее событие. Метафизика всегда, в любой своей точке, доходит до того, что переворачивает себя и ставит с ног на голову. Платону не нужно было дожидаться Ницше и конца 19 века нашей эры, он сам с собой все это проделал в «Софисте», когда выяснилось, что пустая иллюзия имеет власть над разумом, о какой «объективное знание» может только мечтать.

Власть – древняя вещь, архаичная идея. Неудивительно, раз «архаика» заключает в себе *arche*, начало. Если я способен завладеть тобой, подчинить тебя, я – твоя власть, твое начало. Власть присваивается, похищается, узурпируется. Этому есть внутреннее соответствие, согласие моего существа. То, что вторгается в наш мир, встает между мной и тобой, мной и чем-то еще, забирает себе всю энергию, содержание и смысл определявшей его койнонии, теперь утраченной и забытой. Оно *встает на ее место*. Хайдеггерово забвение, полное и окончательное, возможно только если мы *то, что имели, не хранили*. Тогда – да: забыть забытое, забыть само забывание. Мрак покрывает землю.

Архаический человек открыт и потому беззащитен. Агрессия – то небольшое, что ему остается, в чем хоть как-то реализуется его человечность. Эта агрессия означает, что из архаического космоса есть выход, что он не замкнут и не вечен. В него вторгается не только власть; вернее, то, что вторглось, может почему-то повести себя не-властным образом, обнаружить иную, непонятную природу. Тогда его право власти может быть мною оспорено – собственно, я его и оспариваю постольку, поскольку его в действительности нет. Но при этом я *не понимаю*, что оно *не претендует*. Я осознаю свою реакцию, но не как реакцию, а как прямое действие – то, что какой-нибудь антрополог принял бы даже за «результат оценивающего сравнения». Если то, что вторглось, не соответствует тому, чего я «ожидал», чем это «должно» быть (хотя вряд ли я смогу удовлетворительно объяснить это кому бы то ни было, начиная с себя), я проявляю агрессию и изгоняю его из своего открытого горизонта. В изгнании не подтвердившего свое властное право, недостоверного, неясного и неотчетливого, реализуется тот незначительный квантум свободо-мыслия, которым обладает даже архаический человек. Свобода есть несвязанность меня мною же. И если какая-то мысль – уже свобода, то, наверное, и какая-то свобода – уже мысль.

Архаический человек ожидает только власти, пусть даже и не осознает этого. Станный, ведущий себя иначе опасен не только потому, что не оправдывает этих ожиданий. Он вызывает подозрение в том, что все-таки имеет такую претензию, но почему-то скрывает ее. За видимым простодушием и простительной агрессией архаического человека скрывается *расчет*. Прямо заявляющий о своей властной претензии более выгоден ему, потому что устраняет томительное ожидание и неизвестность. Все сразу определяется. Я готов отдать ровно столько, сколько готов отдать. Здесь не работает Кантова дифференциация общественного и частного, потому что, по видимости, архаический человек жертвует власти всем и ничего для себя не сохраняет; кажется, он всего себя отдает в безраздельное владение другому; но он все же *выгадывает* тут кое-что, совсем как ницшевский бог-хитрец, и пытаюсь понять, что, многие всерьез заговорили об «особой духовности» примитивных народов, а сам Ницше увяз в «психологии».

Человек желает ускользнуть от власти столь же сильно, сколь и самой власти. Отдаваясь власти, человек как бы вступает в партнерство с ней – партнерство, основанное на иллюзии взаимного признания. Именно тотальность властного притязания создает иллюзию чего-то принципиально ею не схватываемого, и лишь *сознание* этого позволяет человеку продолжать жить. Точно так же тотальность смерти навязывает нашему сознанию иллюзию необходимо бессмертной души. Я или потребляю свободу, не осознавая ее, или создаю ее, отказываясь от нее. То, что вторглось в мою открытость и не претендует на власть в моем понимании, несомненно, претендует на *большую* власть, хочет обманом и притворством заставить меня отдать ему даже больше, чем я готов, чем я уже рассчитал. Оно коварно прокрадывается ко мне, втирается в доверие. Зачем ему это нужно? Что может быть больше, чем *все*, которое я и так готов отдать? Наверное, только ничто.

«Бог» властного притязания хочет лишь моего полного повиновения; «дьявол» богоотрицания хочет, ни много, ни мало, мою бессмертную душу.

Моя душа бессмертна, потому что она не живая. Она не жила и не живет. А не живет она потому, что я ей не даю. Я отложил ее на будущее, и сейчас живу без нее, а значит, без себя. Но она хотя бы сохранны, застывшая в безжизненном покое. Жертвуя настоящим, человек думает, что обеспечивает себе будущее, причем в буквальном смысле. Для архаического человека свое и не-свое неотграничены. Все есть одна-единственная открытость. Значит, я существую не собой самим, а всем, что есть. И все, что есть, существует мною. Существование одно на всех, и моя жизнь – не часть всеобщего целого, как принято сегодня романтически воображать себе т. н. «языческое мировоззрение», а то же, количественно и качественно, что и все остальное. Но мой век, как сказано у одного поэта, имеет предел. И если я растрочу себя, со мной кончится и все, что есть. Потому что количество бытия всегда одно и то же, и оно уже отпущено, отмерено, выпало: время, пространство, судьба. Мой смертный удел – символ конечности всего сущего, и наоборот; «символ» как раз и означает половинку чего-либо – знак, нуждающийся в дополнении, не прочитывающийся без него. В себе я читаю знаки судьбы. Но я не могу *не* жить, поскольку *уже* живу, если только не приму решение немедленно умереть. Поскольку я не в состоянии отменить то, что уже живу, я должен (в смысле долженствования, то есть призыва к действию) своей жизнью возместить то, что *должен* (в смысле задолженности, то есть обремененности своей виной). Открытость изначально предполагалась для меня – она дверь, через которую я должен выйти к миру, а он – войти ко мне. Мы должны встретиться, чтобы объявить друг другу о власти конечности и смерти, о том, что наша встреча ненадолго, и век, который нам отпущен, будет истрачен и безвозвратно уйдет. Моя гибель – гибель мира; я закрываю глаза, и наступает тьма; я засыпаю, и сон затопляет мир. Мир, потому что во сне я вижу все то же самое, но знаю, что это сон, и значит, весь мир со мною вместе погрузился в сон. И спим мы не порознь, и видим во сне одно и то же. Архаический страх единой, общей судьбы. Что же тогда помешает миру умереть вместе со мной?

Архаический человек думает, что своей несвободой, отказом от себя, покупает миру будущее, делает так, чтобы его жизнь и его смерть ничего не значили и никак не отразились на мире. А для этого нужно, чтобы его жизнь и смерть перестали быть *его* жизнью и смертью, и стали жизнью и смертью *вообще*, то есть *иллюзией*. Архаический человек лучше Ницше, а главное – задолго до него, знал об иллюзорности общих понятий, и знал, что эта иллюзорность намеренная, утверждаемая сознанием и волей. Если жизнь – моя, и смерть – моя, они кричат об этом в *чувстве*. Себя можно только *чувствовать*. В страстном объятии перестаешь различать, где кончаешься ты и где начинается другой – нет, уже и не «другой» никакой... Точно так же и тут: «я себя чувствую» означает, что это тебя чувствуют жизнь и смерть, они – как две руки, которые тебя держат, держат крепко. Чувство – это всегда две вещи, а не одна: ты и ты сам, ты и кто-то, ты и что-то. Невозможно сказать, где здесь начало и что первое, как и в случае с замкнувшимся кругом. Отсюда теоцентризм, антропоцентризм, эмпиризм. Мысль, ее изначальный прообраз, с ее единством, тоже берется из чувства и сама есть чувство всепринадлежности всего ко всему.

Описанные Аристотелем в «Риторике» молодые греки уже не архаичны. В них нет пугающей запутанности мысли архаического человека, его скупых и жутких жестов самовыражения. Они живут чувствами, но чувства, как говорит Аристотель, меняют людей, а не создают их; следовательно, речь идет не о мнениях и представлениях в их конкретной исторической исполненности, а о путях самой жизни, как будто внеисторичных, но в истории, к сожалению, угадываемых нечасто. Греки умели идеализировать – это им вменяют то в заслугу, то в вину – но еще они умели говорить о своих идеалах с потрясающей смесью иронии и сердечности, как сейчас никто не умеет. Интонации и стоящий за ними строй души утрачены в большей степени, нежели язык, на котором они говорили. Человеком, хорошо это понимавшим, был Ницше. Что говорит Ницше? Что без музыки мы греков не поймем. Какая музыка, отвечаем мы, что там от их музыки осталось... Наука, философия, поэзия, драма, архитектура, скульптура – это еще

ладно. Говорит ли Ницше о музыке, потому что она более других искусств способна вызывать сильнейшие эмоции? Да, и это тоже. Он неоднократно называет греков сентиментальным народом. Тут нам и историки подтвердят: греки даже стихи декламировали под аккомпанемент лиры, так что сказанное Ницше не противоречит известным фактам... Но, честно говоря, не факты наша цель. Достаточно посмотреть на изваяния греческих божеств. Сейчас мы *знаем*, что на праздники их обряжали и раскрашивали, в частности, дорисовывали им глаза, вернее, зрачки – и вот нам кажется, что мы что-то этим *объяснили*, что-то о греках «поняли»... То есть, истолковали в *нашем* духе, в известном *нам* ключе; и тут-то и выяснилось, что был какой-нибудь там «Аполлон» или «Гермес» просто манекеном. Но если предположить, что на праздник бог приходил к людям, то его надо было обрядить и раскрасить – он должен был выглядеть как человек, то есть, некто, выглядящий так-то и так-то, персонифицированный, говорящий нам своим внешним обликом что-то знакомое, «человеческое». В то время как истинной его природой, неизменной, прекрасной и бессмертной, была идеальная абстрактная нагота. Там, где человек уязвим и несовершенен, бог предстал в силе и славе. И наоборот – отражая, как зеркало, человеческую сущность, он становился размалеванным истуканом. Все наносное, поверхностное, фальшивое в его наряде было символом всего человеческого. Время стерло все краски, обратило в прах наряды, и осталась суть: нагота, поза, странный взгляд невидящих глаз. Бог застывает, открытый всему, но ему открыта сама открытость. Для того, чтобы смотреть в нее, нужны именно такие глаза. У нас делается похожий взгляд, когда мы смотрим «в никуда», или «в себя», захваченные мыслью или чувством.

Впрочем, открытость может означать и не простор вовсе, в который надо всматриваться, как мы привыкли думать. Возможно, это слова или звуки, в которые вслушиваются. Вслушиваются боги, и это выдают их застывшие фигуры и невидящие глаза.

Возможно, они слушают музыку.

Но послушаем, что говорит Аристотель о чувствах и тех, кто сильнее всего их испытывает. И как он говорит.

«Юноши по своему нраву склонны к желаниям, а также склонны исполнять то, чего пожелают, и из желаний плотских они всего более склонны следовать желанию любовных наслаждений и невоздержанны относительно него. По отношению к страстям они переменчивы и легко пресыщаются ими, они сильно желают и скоро перестают [желать]; их желания пылки, но не сильны, как жажда и голод у больных. Они страстны, вспыльчивы и склонны следовать гневу. Они слабее гнева [не могут совладать с гневом], ибо по своему честолюбию они не переносят пренебрежения, и негодуют, когда считают себя обиженными. Они любят почет, но еще более любят победу, потому что юность жаждет превосходства, а победа есть некоторого рода превосходство. Обоими этими качествами они обладают в большей степени, чем корыстолюбием: они совсем не корыстолюбивы, потому что еще не испытали нужды... Они не злы, а добродушны, потому что еще не видели многих низостей. Они легковерны, потому что еще не во многом были обмануты. Они исполнены надежд, потому что юноши так разгорячены природой, как люди, упившиеся вином; вместе с тем [они таковы], потому что еще не во многом потерпели неудачу. Они преимущественно живут надеждой, потому что надежда касается будущего, а воспоминания - прошедшего, у юношей же будущее продолжительно, прошедшее же кратко: в первый день не о чем помнить, надеяться же можно на все. Их легко обмануть вследствие сказанного: они легко поддаются надежде. Они чрезвычайно смелы, потому что пылки и исполнены надежд; первое из этих качеств заставляет их не бояться, а второе быть уверенными. Никто, будучи под влиянием гнева, не испытывает страха, а надеяться на что-нибудь хорошее, значит быть смелым. Молодые люди стыдливы: они воспитаны исключительно в духе закона и не имеют понятия о других благах. Они великодушны, потому что жизнь

еще не унизила их и они не испытали нужды; считать себя достойным великих [благ] означает великодушие, и это свойственно человеку, исполненному надежд. В своих занятиях они предпочитают прекрасное полезному, потому что живут более сердцем, чем расчетом; расчет касается полезного, а добродетель прекрасного. Юноши более, чем люди в других возрастах, любят друзей, семью и товарищей, потому что находят удовольствие в совместной жизни и ни о чем не судят с точки зрения пользы, так что и о друзьях не [судят так]. Они во всем грешат крайностью и излишеством... Они все делают через меру: чересчур любят и чересчур ненавидят и во всем остальном так же. Они считают себя всеведущими и утверждают [это]; вот причина, почему [они все делают] чрез меру. И несправедливости они совершают по своему высокомерию, а не по злобе. Они легко доступны состраданию, потому что считают всех честными и слишком хорошими: они меряют своих ближних своей собственной неиспорченностью, так что полагают, что те терпят незаслуженно. Они любят посмеяться и сказать острое словцо, так как остроумие есть отшлифованное высокомерие».

Прекрасное описание, и даже не потому, что точное – в конце концов, местами оно производит впечатление идеалистичного. Дело в интонации.

Ницше все-таки слишком строг к архаическому сознанию. Он разделяет свойственное грекам классического периода, тому же Аристотелю, восхищение прекрасным душой и телом, прямым и ясным человеком, и ненавидит все противоположное этому идеалу – все то, что он помещает под рубрику *ressentiment*: запутанное, неискреннее, малодушное, недоброжелательное. Он понимает, что *ressentiment* архаичен, что это, если угодно, пережиток до-классического, даже доисторического периода существования человека. Но он часто сбивается на псевдомедицинские характеристики: из того, что *ressentiment* – болезненное, регрессивное состояние, он делает вывод, что и описывать его нужно как болезнь. Фуко в «Психической болезни и личности» показывает, что регресс этот сознательный, это всегда выбор личности, направленный к тому, что скрыться за маской ребенка или дикаря. Психическая сила, которая все это движет, определенным образом вне-временна и бессознательна. Ее главная задача – вывести сознание человека из-под удара принятия решения, взятия на себя ответственности за происходящее. Неважно, являются ментальные события причиной или следствием – важно, что они в любом случае имеют место, и порой являются нашей единственной зацепкой, ключом к пониманию происходящего с человеком. Вопрос, конечно, может ли *средство познания* выступать в качестве столь же эффективного *инструмента влияния*. Но и воздействуя на тело, имеют целью разум.

Ключ к пониманию архаического сознания – недифференцированность. Эмоция или идея пронизывают его целиком, распространяются на все имеющееся в наличии сущее, не встречая препятствий. «Бесы орудут и в нас тоже», говорит Ницше. Не только в мире. Такое сознание – идеальный носитель морали: оно одинаково относится ко всем и ко всему. Если его регулятивной идеей становится «добро», получается «добрый человек», открытый, безотказный. Такой ум вместит в себя любую истину, если только она дается ему кем-то еще. Любой командует им. Он принципиально не отдает себе отчет в истинных мотивах своих действий, потому что его истинное «я» скрыто от него самого. Вернее, его истинное существо есть прежде всего скрывание себя от самого себя же. Увидеть себя – пропасть на месте: мгновенно подступят жизнь и смерть. Архаический человек предпочитает оставаться в иллюзорном мире, где он живет не собой, а другим и тем, что дает другой. Он наполняется чужим содержанием и, как правило, не способен вынести о нем суждение – ладно объективное, но хотя бы субъективное: согласен «я» с «ним» или нет, считаю ли «я» так на самом деле, нравится «мне» это или нет. Поэтому классицист Ницше принимает такое существо за коварное. Но настоящее коварство, раздражение и злоба проявляются в нем только тогда, когда нечто грозит его вырвать из кокона пустой нейтральности, видимости содержания и отношения. Тогда архаический человек начинает

защищаться. Впрочем, и здесь он скорее предпочтет игнорировать, нежели нападать: его специфическая пассивность скажется и в этом.

Как же такое существо может стать злым? Очевидно, так же, как и добрым. Для этого в его недифференцированном сознании должно возобладать иное настроение, окрашенное в тона страха и враждебного недоверия. Если в архаическом обществе существует подобие воинственной риторики, то упор в ней будет делаться не на угрозе для личности, или даже общности, в которой эта личность себя осуществляет, но для сущего как такового, для того незыблемого порядка мироздания, который позволяет человеку существовать, не становясь личностью. Зло в картине мира архаического человека всегда колоссально и апокалиплично, поскольку угрожает всему, что есть; если оно явилось, нет уголка мира, где от него можно было бы спрятаться, нет ничего такого, о чем можно было бы надеяться, что оно уцелеет и останется незатронутым. Есть один масштаб, одна мерка, и зло, раз оно явлено и осознано, должно быть, как и все остальное, под стать сущему. Против такого зла и восстают со всей мощью, на которую способны, не думая о собственной гибели, раз личность отменена. Архаический человек вообще не думает; он ведет тотальную священную войну со злом, угрожающим всему сущему. Иногда мы называем такое поведение «великим мужеством», хотя его природа – безумие, и ничего более.

У Аристотеля и классических греков вообще мы ничего такого не находим. Зло ограничено по масштабу и влиянию, всегда объяснимо, иногда даже простительно. Юноши совершают несправедливости по высокомерию, а не по злобе. Главная же причина их высокомерия – возраст, пока они ближе к общему, а не особенному. Нет совершенно негодной вещи, нет и абсолютно плохого, злого человека. Все лучшее и все худшее в человеке исходят из одой природы, как эмоциональность юношей делает их высокомерными, но она же делает их стыдливými и бескорыстными. С веры в то, что кто-то или что-то вообще ничего не стоит, начинается презрение. Но в таком случае можно выбрать что-то или кого-то еще. Мир дифференцирован, он состоит из разных, но прекрасных в своей определенности вещей. Презирать стоит лишь неопределенное, которое действительно ничто. Отвращение и страх перед архаической памятью движут высокомерными и чувствительными юношами Аристотеля. Они не хотят возвращаться в стихию неразличимого существования. Это естественный страх личности перед тем, что может ее стереть и отменить. Но вряд ли этот страх способен начать священную войну.